

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-4-13-32

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ДУЭЛЬ

К пониманию Чехова

ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ КАНТОР

доктор философских наук

Научный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Международная лаборатория русско-европейского интеллектуального диалога (Научный исследовательский университет «Высшая школа экономики») (105066, Российская Федерация, г. Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4; email: vlkantor@mail.ru)

Аннотация. Анализируя повесть А. Чехова «Дуэль», автор предлагает новое понимание пафоса чеховского творчества. Чехов предупреждал об опасности подчинения идеологиям, только он не знал, какая будет главной, поэтому прошелся по всем; в частности, в «Дуэли» им выведен, в сущности, тип будущего нациста или большевика (фон Корен), который опирается на миропонимание Ницше и готов уничтожить попавшегося на его пути интеллигента.

Ключевые слова: А. Чехов, Ф. Ницше, «Дуэль», «Остров Сахалин», идеология, интеллигенция.

Статья поступила 10.02.2020.

Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

© 2020, В. К. Кантор

DOI: 10.3142/0042-8795-2020-4-13-32

A METAPHYSICAL DUEL

Understanding Chekhov

VLADIMIR K. KANTOR

Doctor of Philosophy

National Research University Higher School of Economics,
Russian Federation, International Laboratory
for the Study of Russian and European Dialogue (HSE)
(21/4 Staraya Basmannaya St., Moscow, 105066, Russian Federation;
email: vlkantor@mail.ru)

Abstract: The article, based on the analysis of Chekhov's *The Duel* [*Duel*], offers a new interpretation of Chekhov's oeuvre. Modern Chekhov studies often imply that the writer lived in the era of the end of ideologies and therefore refrained from offering any ideological recipes. In fact, nearly each of Chekhov's longer novellas debunked the nascent ideologies of the time. He warned of the perils of submission to an ideology, even though he could not predict which one would eventually dominate. Therefore, he critiqued each and every one of them. This is how ideology is tackled in his story *The Black Monk* [*Chyorniy monakh*] (an anticipation of detrimental Modernist ideas); in *A Dreary Story* [*Skuchnaya istoria*], these days often compared to the story of Faust; and in *Ward No. 6* [*Palata nomer shest*], showing descent of normal people into insanity. Similarly, in *The Duel*, he depicted a proto-Nazi and Bolshevik, no less, in the character of Von Koren, who embraces Nietzsche's worldview and will not hesitate to destroy an intellectual who crossed his path.

Keywords: A. Chekhov, F. Nietzsche, *The Duel* [*Duel*], *Sakhalin Island* [*Ostrov Sakhalin*], ideology, intelligentsia.

The article was received on 10 Feb. 2020.

The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at HSE University and funded by the Russian Academic Excellence Project '5-100'.

© 2020, V. K. Kantor

Чехова не раз называли певцом российской интеллигенции. Однако слово «певец» не несет в себе обязательного позитивного заряда. Строго говоря, русская литература постоянно описывала представителей российского образованного общества, даже ругая его, ибо только в этом слое можно было найти возможность увидеть движение мысли. А Чехов был безусловно писатель-интеллектуал, его герои постоянно рассуждают. И неважно, принимает ли их рассуждения автор, важен этот духовный настрой. Критики в адрес интеллигенции у Чехова немало.

Но сошлюсь на А. Горнфельда, который общественно-литературную ситуацию хорошо чувствовал:

С тоскливой укоризной не раз рисовал Чехов своих культурных героев: много сурового сказал он о российском интеллигентном обывателе, в котором тонкой оболочкой интеллигентности прикрыт тяжкий груз бытовой обывательщины и моральной безответственности. Слишком достаточно цитировались слова Чехова из письма Орлову о нашей интеллигенции — «лицемерной, фальшивой, истеричной, невоспитанной, ленивой». Однако своеобразную окраску получает это брезгливое обличение в сопоставлении с персонажами повестей и драм Чехова. Очень немного из этого перечня подходит к его главнейшим героям из интеллигенции. Они беспомощны, они бессильны, но переберите их одного за другим: ленив ли дядя Ваня, самоотверженно работающий для других, «дешевые» ли диссертации пишет профессор Николай Степанович, невоспитан ли Лаптев, лицемерны ли «три сестры», фальшив ли студент Петя, «облезлый барин»? *Odi et amo* — ненавижу и люблю — жило в душе Чехова по отношению к этим людям. Наоборот, если что чуждо ему как художественному изобразителю, то это именно люди противоположного склада, работники, деятели. Нигде, ни разу — за двумя-тремя исключениями (для врачей) — не возвеличил он в своих образах большую рабочую силу, большой созидательный подвиг, целеустремленную деятельность [Горнфельд 2010: 479].

Повесть Чехова «Дуэль» была опубликована в 1891 году. Не сразу, но постепенно стало ясно, что это огромное событие в русской литературе. Вообще, 1890-е годы — это период становления Чехова как писателя мирового масштаба. Начиная со «Скучной истории» и «Черного монаха» вплоть до «Архиерея» и «Невесты» из-под его пера выходили шедевр за шедевром. Критики писали, что Чехов — певец безвременья, поэтому он без идеологии. А *enfant terrible* русской философии Лев Шестов

развернул серьезное обоснование: «Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды» [Шестов 2002: 567].

Между тем Чехова читала практически вся русская интеллигенция, которая видела в нем писателя, сформулировавшего важнейшие понятия чести, достоинства и порядочности, верности самому себе, независимости духа, абсолютной правдивости, вырастающей из твердо усвоенных с детства принципов христианства, которые он не считал нужным провозглашать как некую идеологию. По справедливому утверждению профессора из Корнельского университета (США), «укорененность в русской народной религиозной традиции у Чехова не означает поглощенность ею, подчинение ей, служение ей. У Чехова есть дистанция и неподкупное собственное видение, не отождествление, а проникновенное понимание и своеобразное независимое воплощение. Тексты Чехова проникнуты религиозной культурой христианства, мотивами, образами и парадигмами сознания, пришедшими из Библии, православной литургии и популярного русского религиозного обихода. Только ошибочно было бы читать эти элементы как темы прямого высказывания — нужно понять их специальные функции в чеховском мире» [Сендерович 2012: 14–15].

Чехов не стремился разделить какую-либо идеологию, он строил свое мировоззрение как свободный человек, с детства впитавший нормы христианской культуры. Это можно видеть начиная с рассказа «Тоска» (1886) с эпиграфом из духовного стиха «Плач Иосифа и быть»:

Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой,
Известна печаль моя.

Первая повесть, где появляется духовное лицо (отец Христофор Сирийский), — «Степь» (1888); далее лица духовного звания — непрменные персонажи чеховской прозы. Так будет вплоть до потрясающего рассказа «Студент» (любимого рассказа самого Чехова), где он ненавязчиво показывает, как дело Христа и его жизнь отзываются в простых сердцах:

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били <...>

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль <...>

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой <...> думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

Замечу вскользь как ответ Шестову, что на убийство надежд это не похоже. Похоже, что Шестов писал о Чехове, а в голове сидел его любимец Ницше.

В радикальной демократической критике, в словах ницшеанца Горького, потом в советском литературоведении без конца муссируется пара строчек из чеховских писем, что отец замутил его и братьев необходимостью петь на клиросе, а потому-де отбил веру в Христа. Но вера в Христа и неприятие отцовского деспотизма — вещи разные. Заметим, что в доме Чеховых хранилась семейная реликвия — книга 1757 года — Четъи-Минеи. Традиция — вещь важная.

Только глубоко чувствующий православную стилистику жизни мог с глубоким знанием и пониманием написать «Студента» и повесть «Архиерей». Для Чехова существует хронотоп христианской культуры, в котором он живет. Этот хронотоп существует во всех его сочинениях. Он все время в контексте христианской истории, в контексте творения человечества, в мире, созданном Богом, который продолжает существовать и в современности. Человек грешен, это Чехов понимает, в чем-то его прощает, не прощает только преступления против Духа Святого, когда человек берет на себя функцию Судьи. Он знает, что есть «вечный Судья, он ждет». Поэтому, кстати, не принял он учительский пафос Льва Толстого:

Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, боже мой, сколько тут личного! Я третьего дня читал его «Послесловие». Убейте меня, но это глупее и душевнее, чем «Письма к губернаторше», которые я презираю. Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! [Чехов 1984: 231–232]

Он вообще боялся идеологий. Герой повести «Дуэль» фон Корен — идеолог, а потому — враг писателя.

Однако надо переходить к главной теме моего исследования об отношении Чехова к бродившим и росшим в сознании европейских и российских обывателей разнообразным идеологиям.

Один из крупнейших отечественных чеховедов, И. Сухих, писал: «Чехов был, вероятно, первым большим русским писателем, жившим в эпоху “конца идеологий” и отчетливо осознавшим это как историческую неизбежность» [Сухих 2015: 20]. Очень красиво сказано. Но верно ли? Век идеологий и идеократий

только надвигался. И Чехов чувствовал это и предупреждал об опасности подчинения идеологиям, только он не знал, какая будет главной. Поэтому прошелся по всем. Тут и предчувствие страшных идей модерна (повесть «Черный монах», напоминающая средневековые видения, в России прозвучавшие до тех пор лишь однажды — у Достоевского в «Легенде о великом инквизиторе»), и «Скучная история», которую сегодня сравнивают с «Фаустом», и «Палата № 6» — о превращении нормальных людей в сумасшедших... И важнейшая для моей темы повесть «Дуэль» (1891). Часто пишут, что в повесть вошли впечатления писателя от его невероятной поездки на Сахалин (1890). Как говорят сами сахалинцы, Чехов с острова вернулся *просахалиненный*. Там он увидел запредельность зла и жестокости, увидел, как Достоевский, еще один «мертвый дом».

Но сам сюжет «Дуэли» возник года за два до Сахалина и до того, как Чехов взялся за писание. В ноябре 1888 года он пишет А. Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! <...> Пишу на тему о любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Порядочный человек увез от порядочного человека жену и пишет об этом свое мнение; живет с ней — мнение; расходится — опять мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности “несходства убеждений”, о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке» [Чехов 1984: 218]. Однако писать он начал через пару лет, после героической поездки на каторжный остров Сахалин, куда он поехал, имея больные легкие.

В 1891-м писатель создал два текста — «Остров Сахалин» и «Дуэль». Иными словами, параллельно с писанием «Дуэли» — май, июнь и первую половину июля — Чехов был занят работой над «Островом Сахалином». Возможно, при создании образа беспощадного фон Корена он вспоминал сахалинских каторжников и понимал злое начало в человеческом существе? На этот счет существует две точки зрения: одна — что в повести Сахалин никак не сказался, что это черноморское побережье, другая — что в «Дуэли» напрямую отразились сахалинские впечатления.

Напрямую вряд ли. Но понимание мира, возникшее после Сахалина, сильно притушило чеховский юмор.

Родственники искали источник образа фон Корена в бытовом знакомстве писателя с доктором Вагнером в барской усадьбе Богимово, где Чехов снял на лето дачу в 1891 году: «Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера. Вечером же начинались дебаты

с зоологом В. А. Вагнером на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и так далее, легшие потом в основу философии фон Корена в «Дуэли». Интересно, что, побывав на Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность. Вагнер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то, конечно, возврата обратно нет, ибо природа не шутит, а Чехов возражал: как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием» [Чехов 1981: 152–153]. Впрочем, американский исследователь в своей обстоятельной работе о Чехове тоже шел за прямыми деталями, не учитывая смысловой нагрузки сахалинских впечатлений:

«Дуэль» в большей степени следует традиции русского романа, чем вся предыдущая чеховская проза: ее герои — один из них носит славянскую фамилию Лаевский, а другой — немецкую, фон Корен, — являются представителями конфликтующих мировоззрений (пассивного славянского и маниакального немецкого) и дерутся на дуэли. Новизна повести состоит в том, что Чехов не сочувствует ни тем, ни другим убеждениям, хотя своих героев он любит. Читая «Дуэль», трудно представить себе, что автор недавно побывал на Сахалине, — место ее действия напоминает Батум или Сухум и скорее заставляет вспомнить о поездке Чехова на Кавказ в 1888 году <...> Такие сахалинские впечатления, как жизнь коренного населения и миссионерство отца Ираклия, если и нашли отражение в повести, то лишь в ряде незначительных деталей [Рейфилд 2017: 356].

Тема немцев не Чеховым введена в русскую литературу. Причем отношение к немцам у разных писателей (больших писателей) очень разное. Уж не говорю о Германне, сыне обрусевшего немца из «Пиковой дамы»! Но вот — у Лермонтова: «Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец». Но все же Вернер помогает Печорину; напомним и повесть «Немцы» К. Леонтьева, где немцы — положительные герои... Ну и всем известный Штольц Гончарова. Гораздо интереснее немец Крафт в «Подростке» Достоевского, который так любит Россию, что кончает с собой после объяснения, что Россия вторична в этом мире.

Зато омерзителен Берг в «Войне и мире». Лев Толстой немцев не любил. Очевидно, что Чехов не подражал графу, и фон

Корен не нравится ему не как немец, а как носитель страшной идеологии. Скажем, в «Трех сестрах» подражающий не то Лермонтову, не то Печорину омерзительный Соленый убивает благородного немца барона фон Тузенбаха...

Тем не менее Сахалин все же сказался. Он как мощное подводное течение, которое определяет температуру (в данном случае — подчеркнутое безразличие к человеческой жизни). Сахалинский штрих: «Когда солдат поднял воротник, чтобы закурить трубку, Клименко выхватил у него ружье и убил его наповал, потом как ни в чем не бывало вернулся в Александровский пост». Вот рассказ, навеянный Сахалином, — это «Гусев»: о том, как едущий домой солдат умирает на корабле, который везет его в Россию, а тело сбрасывают в океан акулам.

Акула — существо из доисторических времен, как и медуза, предмет занятий фон Корена. Оба — существа хтонические, чуждые человеку.

Тело Гусева обвязывают колосниками и сбрасывают за борт. Оно начинает тонуть:

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

Вспомним, что фон Корен занимался морскими гадами («молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз»; курсив мой. — В. К.). Как рассказывают сахалинцы, хоть раз побывавшие на берегу моря, они видали огромных медуз, выброшенных прибоем из морских глубин. Должно быть, видел их и Чехов.

Итак, фон Корен называет себя зоологом и занимается медузами. Почему именно медузами? Начнем с того, что среди морских и океанских обитателей акулы и медузы — самые древние, а за медузами еще и целая мифология (взять хотя бы Медузу Горгону, ужас античности: от взгляда Медузы и ее сестер, как сказано в древнегреческих текстах, даже вода покрывается тонким льдом, а сами Горгоны летают по воздуху быстрее ветра).

На иномирную природу родственниц указывает то, что их породили Форкис и Кето, то есть олицетворение бурного моря и праматерь морских чудовищ. Да и физически фон Корен, производящий впечатление красавца с гипнотическим взглядом, был в изображении Чехова человеком, очень любившим себя. Напомню его самолюбование, его курчавые волосы, отсылающие к завиткам вокруг головы Медузы Горгоны:

Фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волоса, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Главный его враг — интеллигент, «лишний человек», филолог, Иван Андреевич Лаевский. Его-то фон Корен и хочет уничтожить как существо нежизнеспособное, как бесполезного человека, то есть, по понятиям фон Корена, «мерзавца». Вот его беседа о Лаевском с военным доктором Самойленко, добродушным, немного наивным, но абсолютно порядочным:

— Вот уж кого мне не жаль! — сказал фон Корен. — Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...

— Неправда. Ты бы этого не сделал.

— Почему ты думаешь? — пожал плечами зоолог. — Я так же способен на доброе дело, как и ты.

— Разве утопить человека — доброе дело? — спросил дьякон и засмеялся.

— Лаевского? Да.

Пишущие о «Дуэли» в поисках идей фон Корена отсылают к Герберту Спенсеру. Тема вырождения звучала в западной философии и публицистике, но Спенсер — англичанин, а доктор Самойленко бросает фон Корену (у которого тоже немецкие корни):

— Перестанем говорить об этом, — сказал зоолог. — Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

— Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.

Формула «падающего толкни» и вправду идет от немца Ницше из его «Заратустры». «Дуэль» опубликована в 1891 году, а «Так говорил Заратустра» — в начале 1880-х. «Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen» — философский роман Фридриха Ницше, три части которого изданы в 1883 году. Ницше намеревался написать еще три части, но закончил только одну — четвертую (1885); создавая профанное Евангелие, делая из своего «Заратустры» книгу притч, наподобие евангельских, он писал: «Что падает, то нужно еще толкнуть!» (цитата часто изменяется как «Падающего — толкни», но по-немецки звучит так: «Was fällt, das soll man auch noch stossen».) И добавлял: «О братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» [Ницше 1990: 151].

Ницше буквально заколдовал русскую мысль, за исключением последователей Вл. Соловьева. Скажем, по воспоминаниям современников, в кабинете Горького всегда висел портрет Ницше. Замечу мимоходом, но существенное: когда Владимир Соловьев писал своего Антихриста, то краски для этого образа он взял у Толстого и Ницше. И разговоры о Ницше переполняли, разумеется, беседы российских интеллектуалов, особенно после выхода «Так говорил Заратустра».

Похоже, что и «Дуэль» произвела на современников схожее впечатление. Мало того что Суворин печатал ее как горячую новость в газете «Новое время»; в 1892 году она вышла отдельной книжкой, а при жизни писателя выдержала девять изданий.

Пока повесть печаталась в газете, обычные газетные авторы «Нового времени» на Чехова обижались, мол, отнимает у них газетное пространство. Но Суворин хотел скорее донести повесть Чехова до публики.

Чехов, бесспорно, гений, но всегда ли гениев признают при жизни? Назову имена сегодня абсолютно признанных, но получивших это абсолютное признание годы спустя после смерти: это Пушкин, Грибоедов, Достоевский, К. Леонтьев... «Литературными изгнанниками» называл таких гениев В. Розанов. Чехову повезло, он нашел почитателя при жизни, да еще им был влиятельный издатель А. Суворин: «Суворин не выносил, чтобы о Чехове говорили дурно. Он ревниво относился к критическим отзывам о Чехове, страдал, когда не нравилась какая-нибудь чеховская вещь. Скажу о себе самом. Я как-то долго не мог войти во вкус “Дуэли”. И вот однажды в Москве, в пору коронации 1896 года, мы двое, Алексей Сергеевич и я, оба влюбленные в Чехова, буквально переругались из-за “Дуэли”. Я находил ее ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже своего таланта ничего написать не может» [Амфитеатров 2010: 61].

Чехова называли «жертвой безвременья» (М. Протопопов). А. Скабичевский, как-то написавший, что Чехов умрет от пьянства под забором, постепенно опомнился, но критический пафос остался. «Дуэль» ему тоже не понравилась: «Мало, что мысли, проводимые г. Чеховым в последних произведениях, поражают вас своим убожеством <...> У г. Чехова ложные мысли, к сожалению, искажают самые изображения, нарушают художественную правду и, следовательно, делают ущерб г. Чехову не только как мыслителю, но и как художнику <...> Повесть кончается общим умилением, и даже сам фон Корен, видя себя побежденным, принимает в этом умилении участие <...> Вы не можете представить себе, какую фальшью, какую, если хотите, даже пошлостью веет на вас от всего этого конца повести» [Скабичевский 1892]. Но на этом непонимание Чехова не закончилось: как-то странным казалось, как вдруг среди титанов вроде Толстого и Достоевского возник врач из провинции, в принципе не должный бы ставить высоких целей перед своей прозой, вчера еще мелкий юморист, а сегодня вроде бы классик...

Чехова еще при жизни стали называть классиком, он был избран в большую Академию. Но даже русские эмигранты хотели найти кого-то более значительного как опору русского духа, скажем, признанных всем миром Толстого и Достоевского, поэтому о Чехове писали до неприличия грубо: «Отсутствие

индивидуальности у персонажей особенно заметно, когда Чехов заставляет их подолгу рассуждать на абстрактные темы. Как это отличается от Достоевского, который всегда “чувствовал идеи” и делал их такими замечательно индивидуальными. Чехов не “чувствовал идей”, и его герои — когда им предоставляют слово — говорят бесцветным и скучным газетным языком¹. Особенно такими разглагольствованиями испорчена “Дуэль”. Может быть, рассуждения — это дань Чехова глубоко укоренившейся традиции русской *интеллигентной* литературы. В свое время рассуждения, наверное, имели эмоциональное значение, но сейчас, во всяком случае, потеряли его. Еще один серьезный недостаток Чехова — его русский язык, бесцветный и лишенный индивидуальности. У него не было чувства слова» [Мирский 2010: 25].

Но не забудем, что так же писали и о Достоевском. Что слово Достоевского, язык его героев — не опредмечены. Писателя упрекали, что речь его персонажей не индивидуализирована, не конкретна, что все они говорят примерно теми же словами, что и автор. Но, как и у Чехова, это не от слабости. Слово Достоевского свободно, не связано, вещно не обозначено, поэтому вовлекает оно в свою орбиту весь мир — от уголовных деяний до глубочайших философских проблем, и все это в структуре одного произведения.

Кого же фон Корен хочет убить? Чехов ненавязчиво дает ответ:

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружил дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил:

— Твоя мать жива?

— Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.

Иными словами, речь идет об убийстве ребенка, о котором не раз говорится в Евангелии как сути бытия: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное... Кто умалится [смирится], как это дитя, тот и больше в Царстве

1 Точно такие же упреки получал поначалу Достоевский. — В. К.

Небесном» (Мф. 18: 1–4). Достоевский писал о слезинке ребенка как самом большом преступлении, да и М. Катков за несколько лет до чеховской «Дуэли» обронил поразительно верные слова:

Странное явление представляет современная русская литература. Почти целиком принадлежащая скептикам и вольнодумцам, она в некотором смысле есть одна из религиознейших в Европе. Тайная основа ее, часто даже бессознательно, есть христианская. Романисты прежде всего заняты душой, совестью, миром душевным; они с тревожной заботливостью ищут разрешения задачи жизни и таинственных судеб человечества. Вопреки их рационализму, религиозное чувство проникает всюду, даже туда, откуда его гонят. У них христианство как бы улетучивается. К ним можно применить одно из прекрасных сравнений одного нашего мыслителя: подобно сосудам, которые пропитаны еще испарившимися благовониями, русская литература, равно как и русская душа, часто бывает пропитана чувством исчезнувшей веры. Из народа, как от земли, поднимается до холодных литературных слоев нечто вроде религиозного испарения [Катков 2002: 484].

Чехов и был выразителем этого народного христианского чувства.

Что касается ницшеанских идей, гулявших в эти годы по Европе и по России, то вся проза Чехова является ответом на эту проповедь сверхчеловека и самодовольства, самовлюбленности. «К одному Чехов относился действительно с непримиримой и нескрываемой враждой, — писал С. Булгаков, — к упрощенным геометрическим формулам, в которые прямолинейные люди пытаются уложить и жизнь и будущее, но за которыми скрывается нередко лишь незрелость мысли. Почти карикатурный образ прямолинейного доктринера Чехов дал в лице ученого зоолога фон Корена (в «Дуэли»), который, по воле автора, уступает в понимании жизни немудрящему сельскому дьякону» [Булгаков 1993: 153]. Дьякон, однако, совсем не немудрящий, это человек серьезной, большой христианской веры, поэтому он с иронией относится к идеологической вере фон Корена. Дьякон думает: «Вы говорите — у вас вера <...> Какая это вера? А вот у меня есть дядька — поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает».

Кажется, здесь Булгаков слишком упрощает ситуацию. Да и фон Корен совсем не карикатурен: он, конечно, Чехову неприятен, но силу его Чехов признает и подчеркивает. С этим согласны и современные исследователи: «Фон Корен тверд в своих идеях и готов стоять за них с оружием в руках, да у него и привычка играть оружием: он смотрит на Лаевского как на монстра и существо низшее <...> Лаевский — существо жалкое, потерпевшее поражение в жизни <...> Говоря о его позе страдальца, фон Корен иронически замечает: “перед Лаевским надо лампаду повесить”. Иначе говоря, он намекает на то, что Лаевский разыгрывает из себя икону святого великомученика» [Сендерович 1994: 230]. Но икона — хороший образ, с ним шутить трудно, это то чистое, что, видимо, хранится в душе Лаевского.

Интересно, что образ фона Корена оказался совершенно непонят. Это очевидный образ будущего нациста или большевика, который готов убить думающего не так, как он, — или отправить на каторжные работы. Вот отрывок из его беседы с доктором Самойленко, где зоолог говорит о сожительнице Лаевского как о животном:

— По-моему, самый прямой и верный путь, это — насилие. *Manu militari*² ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.

— Уф! — вздохнул Самойленко; он помолчал и спросил тихо: — Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо... Скажи мне, если бы, того... положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы... решился?

— Рука бы не дрогнула.

Убить Лаевского ему не удалось — под руку крикнул дьякон. Ницше писал, что врага нельзя презирать, враг должен быть сильным: «Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом, — так учил я уже однажды» [Ницше 1990: 151]. Фон Корен не считает Лаевского сильным, презирает его.

«Я его сейчас убью, — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. — Да, конечно, убью...»

— Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко.

2 Военною силою (лат.).

Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в курузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой.

После дуэли, постояв под дулом пистолета врага, который должен был его убить, Лаевский испытал примерно то же самое, что испытал Достоевский после отмененного расстрела и освобождения из «Мертвого дома». Он чувствует, что это выход к жизни, хотя понимает, что его почти похоронили, и секунданты едут с дуэли как с кладбища. Так же едет домой и сам Лаевский:

«Все кончено», — думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиной с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля.

А ведь он почти был убит, на шее след от пули! То есть далее пошла посмертная жизнь, чего никто из критиков не понял, удивляясь перемене в поведении Лаевского и его сожительницы. А перемена эта описана удивительно трогательно:

Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя...

Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие, отрывистые фразы, и ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.

Они примирились, даже поженились. Откуда-то у них взялись силы, посмертные силы, которые приходят, когда человек выжил непонятно почему. Лаевский победил себя, но и фон Корен победил себя, явившись мириться к Лаевскому:

— Какие люди! — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. — Боже мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай

Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!

— Полно, дьякон! Какие мы с ним победители?

Но интересно, что фамилия дьякона — Победов. Вполне в стиле классицистического реализма! Он и есть победитель этого конфликта, он несет в себе и автобиографические черты писателя. Чехов писал Суворину 27 марта 1894 года: «Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках» [Чехов 1984: 248]. Но именно об этом примерно думает и дьякон:

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете!

Дьякон — смешливый человек, а смех, как писал Бахтин и другие исследователи смеховой культуры, противостоит официозу и любой догматике. Сам Чехов начинал как Чехонте, блистательный юморист, многие его рассказы того периода стали классическим образцами русского анекдота. Смех — это шаг к свободе. Поэтому именно смешливый дьякон — победитель зла.

Правда, в чеховских интеллигентах такой критик, как С. Дурьин, не видел опоры для человеческой жизни. Он говорил: «В течение всей своей деятельности Чехов всю силу своего огромного таланта, ясного ума и благородного сердца направлял на то, чтобы понять и художественно воссоздать жизнь русской интеллигенции, но это художественное воссоздание поневоле оказалось судом» [Северный 1998: 314]. Наверно, можно и так

прочитать Чехова, но суд не обязательно означает приговор и тюрьму. Писатель давал читателю возможность выбора. Лаевский слаб, но он и силен, когда возвращается к жизни. Фон Корен силен, но и беспощадно жесток, когда человек ему не симпатичен. То есть берет на себя функции Господа, что для верующего Чехова неприемлемо. «Есть Божий суд...» И никому не дано подменять этот суд.

Фон Корен уезжает в экспедицию на корабле. Его провожают доктор Самойленко, дьякон и Лаевский. Все глядят на лодку, увозящую зоолога.

«Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор.

Лаевский по сути дела отвечает фон Корену, его идея: «Да, никто не знает настоящей правды...» — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море».

В надвигавшуюся эпоху идеократий каждая идеология объявляла свое учение окончательной и настоящей правдой. Писатель предложил ответ: «Никто не знает...»

В этом и есть пафос чеховской борьбы с идеологиями. Как написал мудрый Замятин: «От тенденции, от проповеди он (Чехов.— В. К.) был дальше, чем кто-нибудь из русских писателей».

* * *

Существует апокриф, что в 1899 году купеческому сыну Антону Чехову было пожаловано потомственное дворянство. Ему пришло письмо от имени Николая II, который своим указом присвоил писателю титул потомственного дворянина и орден Святого Станислава третьей степени. Вроде бы Чехов письмо спрятал и никому о нем не сказал. Об этом стало известно только в 1930 году... И якобы потомственное дворянство Чехов не принял.

Литература

Амфитеатров А. В. Антон Чехов и А. С. Суворин. Ответные мысли // А. П. Чехов: Pro et contra. Личность и творчество А. П. Чехова в русской

- мысли XX века (1914–1960). Антология. В 2 тт. Т. 2 / Сост., общ. ред. И. Н. Сухих. СПб.: РХГА, 2010. С. 60–62.
- Булгаков С. Н.* Чехов как мыслитель // *Булгаков С. Н.* Сочинения в 2 тт. / Вступ. ст., сост. И. Р. Боромянской. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 150–153.
- Горнфельд А. Г.* Чеховские финалы // *А. П. Чехов: pro et contra.* Антология. Т. 2. 2010. С. 458–486.
- Катков М. Н.* Два отзыва о русском народе // *Катков М. Н.* Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 475–494.
- Мирский Дмитрий.* Чехов // *Русское зарубежье о Чехове.* Критика. Литературоведение. Воспоминания / Сост., предисл., примеч. Н. Г. Мельникова. М.: Дом русского зарубежья, 2010. С. 20–38.
- Ницше Фридрих.* Так говорил Заратустра / Перевод с нем. Ю. М. Антоновского // *Ницше Фридрих.* Сочинения в 2 тт. / Сост. К. А. Свасьян. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 5–237.
- Рейфилд Дональд.* Жизнь Антона Чехова / Перевод с англ. О. Макаровой. М.: Колибри, 2017.
- Северный С. (Дурылин С. Н.)* «Вехи» и Чехов // *Вехи: Pro et contra* / Сост., вступ. ст. и примеч. В. В. Сапова. СПб.: РХГИ, 1998. С. 313–314.
- Сендерович Савелий.* Чехов — с глазу на глаз. История одной одержимости А. П. Чехова. Опыт феноменологии творчества. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.
- Сендерович С. Я.* Фигура сокрытия. Избранные работы. В 2 тт. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2012.
- Скабичевский А. М.* Литературная хроника. Антон Чехов — «Дуэль», повесть <...> // *Новости и Биржевая газета.* 1892. 13 февраля.
- Сухих И. Н.* Рассказы из жизни моих друзей. Идеологические повести // *Чехов Антон.* Дуэль. СПб.: Азбука, 2015. С. 5–28.
- Чехов А. П.* Переписка. В 2 тт. / Вступ. ст. М. П. Громова, сост. и коммент. М. П. Громова, А. М. Долотовой, В. В. Катаева. Т. 1. М.: Художественная литература, 1984.
- Чехов М. П.* Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М.: Художественная литература, 1981.
- Шестов Л. И.* Творчество из ничего (А. П. Чехов) // *А. П. Чехов: Pro et contra.* Личность и творчество А. П. Чехова в русской мысли XX века (1887–1914). Антология. В 2 тт. Т. 1 / Сост., общ. ред. И. Н. Сухих. СПб.: РХГИ, 2002. С. 566–598.

References

- Amfiteatrov, A. (2010). Anton Chekhov and A. S. Suvorin. In response. In: I. Sukhikh, ed., *A. P. Chekhov: Pro et contra. A. P. Chekhov's personality and works in Russian thought of the 20th century (1914-1960): An anthology (2 vols)*. Vol. 2. St. Petersburg: RKhGA, pp. 60-62. (In Russ.)
- Bulgakov, S. (1993). Chekhov as a thinker. In: I. Borodyanskaya, ed., *Works of S. Bulgakov (2 vols)*. Vol. 2. Moscow: Nauka, pp. 150-153. (In Russ.)
- Chekhov, M. (1981). *Chekhov and beyond. Encounters and impressions*. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russ.)
- Gornfeld, A. (2010). Chekhov's denouements. In: I. Sukhikh, ed., *A. P. Chekhov: Pro et contra. A. P. Chekhov's personality and works in Russian thought of the 20th century (1914-1960). An anthology (2 vols)*. Vol. 2. St. Petersburg: RKhGA, pp. 458-486. (In Russ.)
- Gromov, M., Dolotova, A. and Kataev, V., eds. (1984). *Correspondence of A. Chekhov (2 vols)*. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russ.)
- Katkov, M. (2002). Two opinions on the Russian nation. In: M. Katkov, *Imperial word*. Moscow: Moscow, pp. 475-494. (In Russ.)
- Mirsky, D. (2010). Chekhov. In: N. Melnikov, ed., *Russian writers abroad on Chekhov. Criticism. Literary studies. Reminiscences*. Moscow: Dom russkogo zarubezhiya, pp. 20-38. (In Russ.)
- Nietzsche, F. (1990). Thus Spoke Zarathustra. Translated by Y. Antonovsky. In: K. Svasian, ed., *Works of F. Nietzsche (2 vols)*. Vol. 2. Moscow: Mysl, pp. 5-237. (In Russ.)
- Rayfield, D. (2017). *Anton Chekhov: A Life*. Translated by O. Makarova. Moscow: Colibri. (In Russ.)
- Senderovich, S. (1994). *Face to face with Chekhov. A story of A. P. Chekhov's obsession. A study in phenomenology*. St. Petersburg: Dmitry Bulanin. (In Russ.)
- Senderovich, S. (2012). *The figure of concealment. Selected works (2 vols)*. Vol. 2. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury. (In Russ.)
- Severny, S. (Durylin, S.). (1998). 'Vekhi' and Chekhov. In: V. Sapov, ed., *Vekhi: Pro et contra*. St. Petersburg: RKhGI, pp. 313-314. (In Russ.)
- Skabichevsky, A. (1892). A literary chronicle. Anton Chekhov – 'The Duel' ['Duel'], a novel <...>. *Novosti i Birzhevaya Gazeta*, 13 Feb. (In Russ.)
- Sukhikh, I. (2015). Stories from the lives of my friends. Ideological novels. In: A. Chekhov, *Duel*. St. Petersburg: Azbuka, pp. 5-28. (In Russ.)
- Shestov, L. (2002). Creation from nothing (A. P. Chekhov). In: I. Sukhikh, ed., *A. P. Chekhov: Pro et contra: A. P. Chekhov's personality and works in Russian thought of the 20th century (1887-1914). An anthology (2 vols)*. Vol. 1. St. Petersburg: RKhGI, pp. 566-598. (In Russ.)